

ЛОКАРМЕН

РАСКРЕЗЫ

## Лазарь Кармен

# У меня на плече

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

**Лазарь Кармен  
У меня на плече**

Два часа ночи. Тихо.

Если бы не веселый, неунывающий, вечно болтливый маятник стенных часов, было бы совсем тихо в доме, как в могиле. Сажу у стола и пишу.

В полузакрытое ставнями окно смотрит любопытная звездочка. Она мило улыбается, щурит лукаво голубой глазок и заигрывает со мною. С удовольствием бросил бы перо, облокотился бы о стол и отвечал бы на ее заигрывания. Но некогда.

Из соседней комнаты вдруг доносится шорох одеяла и знакомый усталый голос:

– Не спишь?

– Нет.

– Так поздно?... Портишь глаза!

– Пустяки! Спи, мама!

– Не могу!..

Молчание.

Продолжаю писать и слышу, как она ерзает, тяжело дышит, стонет. Она задыхается.

Кладу перо, бросаю мимолетный взгляд на звездочку и иду к ней.

Посреди комнаты, над круглым столом с черной клеенкой, тускло горит висячая при-

крученная лампа. В свете ее все предметы – стол, буфет, этажерка, маленький шкаф – кажутся мертвыми, холодными. Они отбрасывают на пол и стены короткие неподвижные тени.

На железной кровати в углу, на подушках, сидит мать в розовой выцветшей кофте. Голова ее повязана серой косынкой, из-под которой выскользнули на лоб и щеки большие пепельные кольца, руки беспомощно вытянуты вдоль одеяла. Она сидит, понурившись, как бы придавленная тяжестью, и на стене отпечатан ее силуэт.

Подсаживаюсь к ней, привычной рукой обхватываю ее стан, легонько подсовываю правое плечо свое под ее нежную голову, – голова ее моментально и мягко, как пух, ложится на плечо, – и спрашиваю:

– Что, мама?

Она поднимает лицо, – лицо у нее теперь бледное, припухлое, с синеватым оттенком, – заламывает руки и, задыхаясь и покачивая головой, отвечает:

– Сердце... Воздуху... Душно...

Она при этом широко и часто раскрывает

рот и растерянными глазами обводит всю комнату, словно ища воздуха.

Ах! Если бы можно было разметать эти душные стены, замаскированные желтыми обоями, потолок, мебель и нагнать сюда с лесов и долин потоки свежего, живительного воздуха или умчаты ее в горы, степи, к широкому морю, светлым озерам...

– Соды хочешь?

Горькая усмешка.

– Соды? Каждую ночь соды!.. Сердце, новое сердце!..

Новое сердце?! Это было бы недурно.

Но где достать его? Кажется, не народились еще фабрики, выделяющие новые сердца?

– А горчичник? – спрашиваю я после небольшой паузы.

– Пожалуй! Но где взять?

– Я мигом сбегая в аптеку.

– Нет! Нет! – Она испуганно хватает меня за руки. – Поздно, и ты простудишься.

– Ну, вот еще!

Пробую высвободить руки, но она не пускает.

– Не надо!..

Она продолжает широко и часто раскрыть рот, как выброшенная на отмель рыба, ловит неподатливый воздух, стонет, разводит руками, и по щекам ползут тяжелые свинцовые слезы. Они скатываются на шею, заползают за воротник.

– Впрочем... дай соды...

Осторожно высвобождаю плечо, иду к буфету и приготавливаю содовую воду. Она пьет и морщится.

Я снова подсаживаюсь к ней и спрашиваю:

– Легче?

Та же горькая многозначительная усмешка.

Усмешка скоро исчезла. Мама уснула. Из слегка раздувающихся ноздрей вылетает легкий свист, прерываемый изредка тяжелым вздохом.

Мне надо писать. Но я не иду. Боюсь потревожить ее сон. Она так мало спит, притом ей приятно у меня на плече.

Прижимаюсь к ней теснее и прислушиваюсь к ее сердцу. Оно как бы замерло, молчит. Бедное, больное сердце! Я разглядываю потом

ее лицо, столь родное мне, близкое, милое. Как оно измучено!

На ресницах, как дождевые капли, дрожат слезы, бледные губы слегка дергаются.

Я с трудом сдерживаю рыдания и стискиваю зубы. И вместо того чтобы рыдать, прихожу в ярость. В груди бурлит, глаза сверкают ненавистью.

Я зол! Зол на весь мир, на жизнь, на всех-всех, кто ломает, калечит и коверкает сердца!..

Но ярость утихла. Я снова гляжу на ее страдальческое лицо с дрожащими на ресницах слезами, ловлю еле слышный шорох ее сердца и спрашиваю себя:

«Как это случилось? Каким образом испортилось это славное, нежное сердце!»

Передо мной в полумраке комнаты, наполненной холодными, молчаливыми тенями, проходят картины прошлого. И я нахожу в них ответ на мои вопросы.

Вспоминаю вечер. Я с братишкой сидим у стола. Я решаю задачу, а он мастерит перочинным ножиком из красной коры, найденной им на пристани, лодчонку.



Часы бьют десять. Бросаю задачник и иду на кухню. В ней страшно натоплено, и вся она заплыла густым, едким паром.

С трудом различаю накаленную добела печь, огромный чугунный котел, в котором пузырится белье, и мать в подоткнутой красной фланелевой юбке, без кофты, в сорочке, над большущей лоханью.

Пышные золотые волосы у нее разметались и влажны, лицо красное, потное.

В лохани куча белья, и мать трет его голыми руками так, что вся фигура ее трясется. Она чуть не до потолка взбивает мыльную пену, которая летит во все стороны клочьями, ложится на ее лицо, глаза, нос, щеки и стены. И для того, чтобы работа спорилась, она звонким и чистым, как серебро, голосом поет свои немецкие песенки.

Мне тяжело видеть ее за лоханью, и я говорю:

– Мама, ты скоро?

– Скоро. Иди спать.

– Я пойду тогда, когда ты. Брось, завтра окончишь!

– Нельзя.

– Как знаешь. А я раньше тебя спать не лягу.

– Ах, какой ты!

Мама в отчаянии.

Оставляю кухню. Братишка заснул над своей лодчонкой.

Я беру его бережно под мышки, веду к кровати, стаскиваю с него ботинки, блузку и укладываю, потом достаю Рокамболя. Передо мной проходит вереница смелых воров, шулеров, куртизанок, сыщиков. Я путешествую с ними по всем трущобам Парижа – кабачкам, тюрьмам, всяким Пер-Лашезам и кабинетам г.г. префектов...

Дзинь, дзинь, дзинь! Двенадцать! Я вздрагиваю и лечу опять на кухню.

Кухня по-прежнему наполнена густым паром, по-прежнему на раскаленной печи в котле пузырится белье, стоит мама над лоханью, и вокруг нее летают и садятся ей на лицо и плечи хлопья мыла.

Мама поет, как раньше. Но это уже не то пение. В голосе слышна усталость, натертые докрасна руки вяло трут белье.

– Ты не спишь еще? – спрашивает она с

изумлением.

– И не буду. Я ведь сказал.

– Господи!

– Скоро конец?

– Еще две смены воды.

– Помни, я без тебя не лягу.

– Упрямый мальчишка! – В голосе ее теперь слышится и досада, и затаенная радость. Ее трогает моя любовь.

Я возвращаюсь к Рокамболю и возобновляю свое путешествие по кабачкам и кабинетам г.г. префектов.

Час ночи. Захожу в третий раз на кухню. Мама больше не поет. Стоит над лоханью и перевязывает палец.

– Что случилось?

– Кровь. Я напоролась на иглу в наволочке. Меня всего передергивает.

– Ужасно... Когда конец?

– Вот переменю воду и еще раз всполосну. Мама подводит под лохань ведро и выливает воду.

Я помогаю. Лохань тяжелая. Помогаю потом наполнить ее свежей водой и развести синьку.

Мама кладет в нее белые как снег комки из сорочек, простынь и наволочек. Я тем временем подкатываю рукава своей парусиновой блузки.

– Это зачем? – спрашивает мама тревожно. – Не смей!

– В первый раз, что ли, мне? Скорее окончишь! Она протестует, ласково грозит, умоляет, но я не сдаюсь.

Мы стоим рядом и выжимаем белье.

– Так хорошо? – спрашиваю.

– Хорошо! – болезненно улыбается она. – Только лучше, если бы ты бросил.

Я подражаю ей. Распускаю в воду сорочку наподобие паруса, свиваю ее в жгут и что есть силы винчу ее обеими руками, выжимая воду.

Нелегкая работа. В груди и руках ломит, кровь приливает к вискам. Я стараюсь не выдавать себя и думаю:

«Я вот только три сорочки выжал, и мне тяжело. А каково ей стирать с шести часов вечера?! И откуда в ней силы берутся?!»

Откуда?... Она работала через силу.

– Что ты делаешь? – спрашиваю я маму.

Она придвинула к себе мои сорочки. Смеется.

– Я ведь выжал их.

– В самом деле?

Она выжимает одну сорочку, и из нее текут ручьи воды. Я посрамлен.

– Эх ты, горе-прачка!..

Последний кусок белья выжат. Слава богу.

Выливаем воду, протягиваем над головой от одного конца кухни до другого несколько бечевки и развешиваем белье. Мама хочет после убрать лохань, привести в порядок кухню, но я не пускаю. Тащу ее в комнату, тушу лампу, и мы ложимся спать. А наутро у меня свежая, без единого пятнышка сорочка. Я надеваю ее, и она обнимает меня, как родная. В ней частица благородной души моей мамы.

Другая картина. Большая мрачная комната.

Поминутно входят, стуча, как ломовые лошади, тяжелыми и грязными сапожищами, не снимая фуражек, дворник и еще какой-то субъект и выносят то диван, то шкаф, то стол, самовар, стенные часы, картину, лампу. Мама, как затравленная, мечется из угла в угол и ломает руки.

В углу сидит братишка – тоненький, нежный, бледный. Он только вчера оправился от тифа. На нем мамина кофта, и он смотрит большими недоумевающими глазами на вандалов, разрушающих наше гнездо. Он не понимает ничего, что вокруг делается.

Дворник усердствует до того, что выдергивает все крюки из стен и гвозди.

Мама бросается в коридор. Там, прислонившись к перилам, стоит хищная дама – хозяйка.

Как это было давно! Но я никогда не забуду этой госпожи и, вспоминая ее, постоянно буду скрежетать зубами и сжимать кулаки.

– Что вы делаете?! Бога у вас нет! Куда я теперь денусь с больным ребенком?! У меня нет квартиры!

– А мне какое дело?!

– Бог накажет вас!.. Комната опустошена.

– Можете уходить! – заявляет дворник. Глотая слезы, мама укутывает братишку в шаль.

– Идем! – говорит она ему.

– Я не хочу, я не могу!

У него от слабости кружится головка.

– Как же быть?! Ты видишь – нас гонят?!

– Но я не могу, не могу!..

Мама целует его, успокаивает и берет на руки. Мы покидаем квартиру.

Во дворе много любопытных.

Проходим мимо. Я следую позади с опущенной головой.

– Куда мы идем? – спрашиваю, когда выходим на улицу.

– Куда?! Куда?!

Мама сама не знает...

Тихо в доме. Только мечется веселый, неунывающий, болтливый маятник.

Тускло горит посреди комнаты над круглым столом с черной клеенкой висячая прикрученная лампа. В ее свете все предметы – стол, буфет – кажутся мертвыми, холодными.

Голова мамы с пепельными кольцами и застывшими на ресницах слезами покоится у меня на плече. Она спит.

Теперь мне все ясно. Я знаю, как это случилось, каким образом испортилось ее сердце. Оно испортилось от непосильного труда, огорчений. Но кто виноват?!

Кто-то шевелится на постели в третьей комнате. Отец. Он – он виноват. Трезвый же

голос шепчет:

«Не он! Виноваты те, которые не оплачивали его труда, пили его соки, платили ему жалкие гроши, благодаря чему нежной маме, нежному цветку приходилось выполнять грубые работы – стирать, гладить, мыть полы, нянчить нас, детей, бежать в снег и дождь по благодетелям, унижаться, просить об освобождении от платы за нравоучение, сражаться с домовладельцами. Вот кто виноват!»

Во мне опять закипает ярость, и я хочу крикнуть: «Звери! Полюбуйтесь на вашу работу!..»

Ах, если можно было бы подарить ей новое сердце!

Вы не знаете, где можно достать новое сердце?!